

© 2006 г. А. А. ЗАЛИЗНЯК

**МОЖНО ЛИ СОЗДАТЬ “СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ”
ПУТЕМ ИМИТАЦИИ**

В этой статье автор, развивая положения своей книги «Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста», продолжает изучение проблемы подлинности или поддельности «Слова». В книге был сделан вывод, что предположение о создании «Слова» фальсификатором-лингвистом предельно маловероятно, поскольку он должен был обладать научными знаниями, которых его коллеги достигли лишь на один-два века позже. В одной из рецензий на эту книгу утверждается, однако, что фальсификатор мог достичь тех же результатов и без лингвистических знаний, путем одной лишь имитации прочитанных рукописей. В статье анализируются причины, по которым такой имитатор имел бы ничтожные шансы на успех.

Поводом для написания этой статьи, продолжающей проблематику моей книги «Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста» [Зализняк 2004¹], послужила рецензия на эту книгу Тэтяны Вилкул в журнале *Ruthenica* [Вилкул 2005]. Рецензия шире по своей цели, чем просто реакция на книгу, — это в сущности статья, декларирующая определенную позицию, а именно, это восприятие моей книги с позиций сторонника поддельности «Слова о полку Игореве» (далее сокращенно: СПИ) — тем самым, разумеется, отрицательное. Такая позиция явно имелась у автора рецензии заранее, и все без исключения замечания и соображения направлены только в эту сторону.

Хотя я пожелал бы себе более внимательно читающего мою книгу оппонента, проанализировать главную идею этой рецензии — что СПИ можно было написать без лингвистических знаний путем прямой имитации реальных рукописей, — мне представляется интересным. Я уже обсуждал этот вопрос в своей книге, но здесь я смогу сделать это более подробно, причем в учетом утверждений оппонента.

Одна из главных мыслей рецензии выражена так (с. 262): «Лингвистам свойственно преувеличивать доказательную силу филологических аргументов в спорах о фальсификатах. Между тем решающую роль тут играет не точная наука, а все-таки общественное согласие».

Со взглядами такого рода не спорят — это не констатация чего бы то ни было, а позиция. Теперь вообще очень в духе времени разоблачать веру в точную науку и приветствовать наступление эпохи, когда любое вольное предположение будет считаться ничем не хуже утверждений точной науки; главным аргументом будет “в это я верю, а в то не верю” или даже попросту “это мне нравится, а то не нравится”, а истина будет достигаться общественным согласием. Идеи этого рода с энтузиазмом распространяются, например, нынешним телевидением.

Я буду далее рассматривать только вопросы лингвистики, а не общественного согласия.

Не могу сказать, чтобы меня вполне устраивала степень объективности рецензента.

Так, рецензент, видимо, вообще не мыслит русиста, который не состоял бы в одной из двух партий по поводу подлинности или поддельности СПИ, и явно причисляет меня просто к партии “защитников”. Т. Вилкул не пожелала поверить моему прямому заявлению, что я начинал исследование, не имея мне-

¹ Я позволю себе далее называть ее уже просто: моя книга.

ния по этому вопросу, и не увидела ничего ценного в том, что в моей книге, в отличие от большинства работ по этой проблеме, взвешиваются аргументы за и против. Она без особых скрупул пишет, что в книге, “сдается, объективность есть часть риторики”. Так что ее читатель безусловно должен считать, что речь идет об еще одной книге рьяного “защитника” подлинности, но вдобавок еще лицемерно прикрывающегося маской объективности.

Кое-где рецензент пытается изобразить меня мелким подтасовщиком, который выдает за аргументы в свою пользу как некоторое явление, так и его противоположность. Пример (с. 264): “В первом случае [с частицей *са*], действительно, языковые черты *Слова* и памятников XII века сходятся. (...) Зато в другом случае — с бессюзными конструкциями — наблюдается системное отклонение *Слова* от древнерусских норм. Несмотря на это, оба случая, по мысли автора, должны свидетельствовать о подлинности *Слова*”. Между тем при добросовестном чтении не было бы никаких сомнений, что я считаю только первое свидетельство подлинности, а про второе говорю лишь то, что оно не может служить свидетельством поддельности (иначе говоря, ничего не дает ни для той, ни другой версии). Есть и такой простой способ проверки — посмотреть в итоговом списке аргументов в пользу подлинности *Слова*, данном у меня на с. 167–170, и убедиться в том, что аргумент “*са*” в этом списке есть, а аргумента “бессюзие” нет. Так что эта попытка бросить неприятную тень на мою логику и на мою объективность, целиком на совести рецензента.

Другой такой же пример касается слов, не засвидетельствованных в ранних памятниках. Рецензент настойчиво приписывает мне трактовку таких слов как ранних; ср. ее упрек (с. 264): “Ведь пока слово не найдено в ранних памятниках, зачислять его в ранние нет оснований”. Важным элементом моего анализа, который я, к сожалению, не всегда нахожу в других работах, является различие не только черного и белого (т.е. фактов, свидетельствующих в пользу одной или другой версии), но и серого (т.е. фактов, которые не могут служить свидетельством ни первого, ни второго). Соответственно, аналогично предыдущему случаю, логика требует различать: а) слова заведомо ранние; б) слова заведомо поздние; в) слова, возраст которых неизвестен (и в принципе может быть любым). И я не вижу случаев, где я не различал бы “а” и “в”. Другое дело, что сама Т. Вилкул, как и большинство сторонников поддельности, склоняется к тому, чтобы объединять “б” и “в”.

Но вопросы этики в данном случае все же не столь существенны, и я не буду на них больше останавливаться.

Структура гипотезы о создании СПИ путем имитации

Рецензия содержит большое число критических замечаний разного масштаба; часть из них интересна и полезна.² Но наша задача здесь не в том, чтобы разбирать мелкие частные замечания и возражения, практически не влияющие на главные выводы. Скажем, замечание о том, что форма *югричи* засвидетельствована в летописи лишь под 1445 г., а в XII в. отмечено только собирательное *югра*, верно, но никак не может поставить под сомнение не только общий вывод книги, но даже и частный вывод о том, что формы на *-ичи* существовали с древнейших времен.

Для нас важнее всего центральное утверждение рецензента — о том, что всю аргументацию моей книги можно “вернуть в противоположную сторону”, предположив, что СПИ создано в XVIII веке не путем применения лингвистических знаний, а путем имитации прочитанных фальсификатором древних рукописей.

Замечу лишь, что в дискуссии о СПИ идея имитации — отнюдь не новая. В частности, я в своей книге с полной эксплицитностью рассматриваю эту версию с самого начала и неоднократно возвращаюсь к ее обсуждению при рассмотрении частных вопросов. Но теперь уместно рассмотреть эту главную идею рецензии подробнее.

Итак, утверждается, что для подделки древнего текста нет необходимости знать орфографию, фонетику и грамматику языка так, как ее знает современный лингвист. Все то же самое может быть достигнуто путем имитации на основе знакомства с некоторым количеством реальных текстов. Никакой лингвистической науки для этого не требуется.

² Так, в частности, я очень оценил то, что рецензент приводит важный пример *аконо видѣние* ‘как бы видение (привидение)’ из Ипатьевской летописи (л. 235, под 1194 г.). Этот замечательный пример мне известен, но, к сожалению, я обнаружил его в летописи (где он замаскирован тем, что его не поняли ни писцы, ни издатели — в издании *ако новидѣние* [древний редактор переделал это в *ако ино видѣние*]) уже после сдачи книги о СПИ в печать, в противном случае он был бы туда включен.

Это утверждение есть не что иное, как гипотеза.

Т. Вилкул как будто не замечает этого фундаментального обстоятельства. Она подает это утверждение как нечто естественное и не требующее особых доказательств и дальше из него уже просто исходит в частных вопросах.

Между тем мы беремся утверждать: это не только гипотеза, но и гипотеза для конкретного случая с СПИ крайне маловероятная.

Рецензент не только утверждает, что имитация такого рода возможна. В ее изложении она предстает как не такое уж сложное дело, доступное любому мало-мальски способному имитатору; "... для накопления указанных Зализняком признаков не нужно лингвистической виртуозности", — пишет она (с. 263).

Мы же беремся в настоящей статье показать, что это глубокое заблуждение. Если предположить, что СПИ создал гений имитации, то это предположение в строгом смысле слова опровергнуть невозможно, поскольку за гением при желании можно предполагать практически безграничные способности (любого рода). Сторонник этой идеи всегда может сказать: "Ну и что из того, что известные нам люди такой-то операции совершить не могут? Гений — мог". Поэтому такое предположение мы и не будем пытаться опровергнуть. Наш последующий анализ посвящен тому, чтобы показать истинный масштаб тех трудностей, которые должен был преодолеть предполагаемый имитатор, и то, сколь маловероятно, чтобы их мог преодолеть человек, не являющийся гением.

Прежде, чем переходить к дальнейшему, необходимо подчеркнуть, что рецензент полностью отвергает взгляд на фальсификатора как на ученого, познавшего научным путем закономерности древнего языка. Вероятно, этот отказ связан с тем, что фигура ученого, который в XVIII веке открыл все то, что его позднейшие собратья открыли за последующие два века, представляется рецензенту, так же, как и мне, неправдоподобной. Впрочем, мне неважно, каков здесь мотив; существенно то, что я с таким отказом охотно соглашаюсь.

Взгляд на фальсификатора как на ученого рецензент называет заблуждением, вызванным тем, что мы мысленно подставляем современного человека на место человека XVIII века, а тот мог быть совсем иным. В ее концепции речь должна идти только о человеке, не причастном ни к какой лингвистической науке.

Соответственно, ниже мы будем рассматривать именно эту версию. Всякое предположение, что сочинитель СПИ в каких-либо вопросах прибегал к лингвистическому анализу, немедленно привело бы нас в сферу гипотезы, которую рецензент отверг. Иначе говоря, все дальнейшее касается только интуитивного имитатора, но никак не лингвиста.

Сформулируем те более частные гипотезы, из которых складывается указанная общая гипотеза (в рецензии они не формулируются прямо, но фактически необходимы для предлагаемых конкретных построений).

1. Читая древнюю рукопись, одаренный человек, не причастный к лингвистической науке, может научиться имитировать ее язык с такой точностью, что будут правильно воспроизведены не только легко наблюдаемые ее характеристики (как употребление тех или иных слов, орфографические нормы, формы словоизменения и т. п.), но и глубинные характеристики, выявляемые только лингвистическим анализом (закономерности порядка слов, закономерности распределения синонимических или квазисинонимических средств выражения того или иного значения, статистические отношения и т.п.).

2. Читая несколько древних рукописей, тот же человек может научиться создавать такие тексты, где для одной части лингвистических параметров (таких, как, скажем, орфография, окончания склонения, количество сочинительных союзов) воспроизведены черты первой рукописи, а для другой части параметров — черты второй рукописи. (Напомним, что гипотеза требует, чтобы человек не прибегал при этом к лингвистическим знаниям.)

Уже первая гипотеза, выражаясь языком математики, чрезвычайно сильная. Вторая же еще намного сильнее первой.

Т. Вилкул, однако, не ограничивается этими гипотезами. Дело в том, что она считает вполне возможной версию Э. Кинана, согласно которой автором СПИ был Йозеф Добровский (хотя и воздерживается от того, чтобы прямо встать на эту точку зрения). А это требует явного или неявного принятия еще и некоторых дополнительных гипотез.

Казалось бы, две идеи: а) что создателем СПИ был выдающийся лингвист Добровский, всю жизнь занимавшийся выявлением закономерностей в строении славянских языков и их текстов, и б) что его создателем был интуитивный имитатор, чуждый лингвистической науке, — совершенно несовместимы. Однако для нашего рецензента здесь нет ничего непреодолимого; она *de facto* использует еще и следующую гипотезу ³:

один и тот же человек может быть (в разные моменты) высококвалифицированным лингвистом и интуитивным имитатором, лишенным какой-либо научной лингвистической опоры в своих действиях.

Соответственно, нас приглашают допустить, что Добровский написал СПИ именно в таком состоянии (в котором, между прочим, ему удалось достичь гораздо более точного отражения некоторых тонких моментов древнерусской грамматики, чем позднее, когда он уже в качестве мыслящего лингвиста писал свой капитальный труд *Institutiones*, — а именно, в СПИ он не допустил тех ошибок, которые содержатся в этом труде). Чтобы немислимое неправдоподобие этого не показалось нашей выдумкой, приведем буквально то пояснение, которое дается по этому поводу в рецензии (с. 266): «Человек, который делает поэтические декларации, и тот же самый человек, который пишет стихи, может утверждать (и часто утверждает) диаметрально противоположные вещи. Можно допустить, что в такой специфической сфере творчества, как фальсификация, где “творцам” необходимо опираться, кроме теоретических постулатов, также на авторитетные образцы, расхождение теории и практики будет еще большим».

Добавим к этому, что согласие с кандидатурой Добровского ведет рецензента к необходимости признать, что способность безупречного имитирования древних рукописей сочеталась у Добровского со способностью читать древнерусские тексты со скоростью, в несколько раз большей, чем современный читатель читает тексты на родном языке (и это при том, что современным ему русским языком Добровский, как признает и Э. Кинан, владел не вполне свободно). Цитирую (с. 273): «Как кажется, как раз объем знаний (речь идет не об их глубине) был у тогдашних “энциклопедистов” больше, чем у нынешнего гуманитария. Так, Добровский за время пребывания в России (меньше года) прочитал более 1000 книг, что, может быть, теперь не под силу ни одному лингвисту. Не знаю, в чем тут дело. Может быть, в узкой специализации нашего образования».

Скорее, впрочем, Добровский все-таки не “прочитал” все эти книги, а часть только бегло просмотрел; но в любом случае ясно, что он не имел возможности вдумчиво читать и затем перечитывать рукописи, как это делает теперь филолог, изучающий язык древних памятников. Ведь даже квалифицированный филолог вынужден иногда надолго остановиться на трудном месте памятника, прежде чем ему удастся прояснить смысл пассажа, или понять загадочное слово, или разобраться в порче и правке. И вот оказывается, что даже в таких условиях Добровский все же так блестяще подобрал в себя язык, например, Ипатьевской летописи, что смог затем удовлетворить требованиям сформулированных выше гипотез 1 и 2. Чудо?

Да, для современных людей чудо, как бы говорит нам рецензент. Но почему не предположить, что люди того времени могли то, чего мы сейчас не можем? Это предположение есть гипотеза 4.

Отсутствие документальных подтверждений

Для того, чтобы версия с неискушенным в науке имитатором оправдалась, нужно, чтобы оказались верными все четыре гипотезы сразу (если допускать кандидатуру Добровского) или по крайней мере первые две (если ее не принимать).

Оставив в стороне гипотезы, относящиеся лично к Добровскому, остановимся более подробно на первых двух — самых важных.

Документальной базы, которая позволила бы прямо ответить на вопрос о том, верна ли гипотеза 1, по-видимому, не существует. Это и понятно: проблема не актуальная и где найти объекты для изучения, неясно ³.

³ Может быть, некоторое подобие такого эксперимента было возможно в эпоху, когда в СССР многие интеллигенты жадно читали югославские газеты “Борба” и “Политика”, не имея ни грамматик, ни словарей; к лингвистике они, если не считать небольшого меньшинства, никакого отношения не имели. Можно предста-

Отдаленным аналогом здесь, вероятно, может служить изучение иностранного языка человеком, переселившимся во взрослом возрасте в чужую страну.

Мы знаем, что некоторая часть таких людей через несколько лет научается говорить на иностранном языке как на родном (заметим, что эта часть весьма невелика, большинство продолжает говорить не нем не вполне хорошо или даже просто плохо). Полное овладение означает, что человек даже по всем совершенно не осознаваемым им параметрам (скажем, процент определенных артиклей, доленое соотношение разных прошедших времен, распределение синонимов, тонкости порядка слов и т. п.) совпадет в природными носителями.

Источником научения в таких случаях является длительное ежедневное общение с природными носителями языка.

Специально отметим, что родственная близость языков в этом отношении не только не помогает, а даже затрудняет полное овладение чужим языком. Скажем, научиться немножко говорить по-польски русскому человеку несопоставимо легче, чем немцу; но овладеть безупречным польским ему труднее, чем немцу (мы говорим здесь не о фонетике, а о самом языке); там, где различие между русским и польским тонкое, родной язык будет постоянно толкать его в ложную сторону.

Может ли быть такое же научение на основе чтения текста, допустим, некоторой летописи? (Напомним, что древний этап родного языка в интересующем нас отношении аналогичен родственному языку.) Как уже говорилось, документальных данных на этот счет нет. Но все же сразу видно, что шансов здесь намного меньше:

1) объем летописи (даже большой) несопоставимо меньше, чем объем устной речи, воспринимаемой человеком за несколько лет; в частности, в ней встретятся примеры не на все морфологические и синтаксические моменты, подсознательное владение которыми составляет часть полного знания языка⁴;

2) общение с летописью одностороннее — обучающийся не тренируется постоянно в произведении собственного текста, как при разговоре, и летопись, в отличие от собеседника, не поправит обучающегося или не покажет ему своим непониманием, что что-то нужно исправить.

Не говорим уже о том, что для обучения языку при жизни в чужой стране имеется мощный внешний стимул, тогда как при общении с летописью этот стимул нужно заменять чем-то другим, более искусственным.

Добавим, что если речь идет о Добровском, с его молниеносным ознакомлением с тысячей рукописей, то вероятность требуемого научения здесь окажется примерно такой же, как вероятность того, что некто овладеет чужим языком (не для простенького разговора, а в полном объеме, т.е. так, чтобы производить тексты, которые носители языка сочтут безошибочными) за неделю слушания радио на этом языке. Но верующих в чудеса, конечно, и это не должно остановить.

В качестве еще одной отдаленной аналогии можно рассматривать деятельность пародистов (имеются в виду не устные выступления, а письменные или печатные тексты). Но они имитируют не язык, а стиль. И их главная цель состоит отнюдь не в том, чтобы в

вить себе, что кто-нибудь из них захотел начать сам сочинять по-сербски. Хотелось бы знать, нашелся ли бы хоть один такой любитель, чьи сочинения сербы признали бы (не из любезности, а всерьез) безошибочными. На мой взгляд, шансов на это очень мало. (Особенно интересно, как были бы расставлены в таких сочинениях бесчисленные сербские энклитики!)

С другой стороны, можно было бы попытаться счесть экспериментом такого рода деятельность Ганки (хотя тут, конечно, мало шансов на то, что Ганка действовал интуитивно, а не как квалифицированный филолог). Но тогда это эксперимент с отрицательным результатом — Ганка ведь разоблачен.

⁴ Можно, конечно, увеличить объем прочитанного, включив туда не одну какую-то летопись, а много других рукописей. Но разные рукописи могут существенно различаться между собой по своим языковым характеристикам. Тем самым проблема перейдет в сферу действия гипотезы 2.

точности совпасть по всем параметрам с оригиналом (в этом случае пародийный эффект был бы совсем незначительным), а в том, чтобы иронически обыграть (или просто высмеять) часто повторяющиеся у данного автора приемы (определенные словечки, обороты речи, средства выразительности), а также его общую тональность. Часто пародист строит фразы так, чтобы они прямо напоминали публике какие-то известные ей места из подлинных сочинений автора. Обыгрываемые им приемы он непременно утрирует; со статистической точки зрения они оказались бы намного более частыми, чем в оригинальных произведениях. Общее количество разных элементов, которые “работают” на пародийный эффект, по-видимому, обычно бывает небольшим. Деятельность пародиста в нормальном случае носит вполне осознанный характер: он понимает, какие звенья его текста должны создать пародийный эффект.

Что касается гипотезы 2 (о возможности имитации одной рукописи в одних пунктах и другой в других), то для нее документальной базы не существует и подавно.

При этом, если для ситуации, соответствующей гипотезе 1, еще мыслимы хотя бы отдаленные аналогии — из сферы изучения иностранных языков или пародирования, — то для случая с гипотезой 2 не видно даже и таких аналогий. Например, нет никаких сведений о том, чтобы кто-нибудь научился иностранному языку так, чтобы у него лексика была уличная, а синтаксис — из литературных радиопередач (или наоборот). И нет сведений о том, чтобы кто-либо строил пародии, например, так, чтобы выбранные словечки имитировали стиль одного автора, а синтаксические конструкции — стиль другого.

Таким образом, не обладает правдоподобием ни одна из этих гипотез, и важнейшей характеристикой обеих является полное отсутствие документальных или экспериментальных подтверждений. Ни рецензент, ни, по-видимому, и кто-либо иной не может предъявить ни одного реального примера имитации, отвечающей этим гипотезам. Иначе говоря, принятие этих гипотез есть чистый вопрос веры.

Особенности языка СПИ, трудные для имитации

Но какие же элементы языка так уж трудно правильно воспроизвести при подражании оригиналу?

Об этом немало сказано в моей книге. Но рецензенту каким-то образом удалось не заметить самого существенного в системе лингвистических аргументов, а именно: дело не сводится к тому, что в СПИ есть ряд таких же языковых явлений, как в реальных рукописях определенного класса — например, двойственное число, препозиция *са*, имперфект типа *бяхеть*, В.мн. типа *сваты*, написания типа *копiа*. Это факты лишь самого первоначального, поверхностного уровня наблюдения. Но рецензент на этом уровне полностью останавливается, в ее представлении лингвистическая характеристика памятника этим и ограничивается. Я даже не исключаю, что она именно из списков в моей книге увидела, как много подобных языковых сходжений между СПИ и реальными памятниками. И вот ее замечательный вывод — о том, что мои списки работают против меня! Раз для каждого такого явления нашлась рукопись, где оно тоже имеется, то, значит, имитатору достаточно было взять его из соответствующей реальной рукописи!

Но в действительности несравненно большую информативную силу имеет не этот первоначальный уровень лингвистического наблюдения, а более глубокий уровень, где учитывается не простой факт присутствия некоторого элемента или некоторого явления, а системные отношения, в которые этот элемент вступает с другими элементами (во фразе или в парадигме). Это может быть, в частности, позиционное распределение (на каких местах во фразе должны стоять рассматриваемые элементы), распределение равнозначных или близких по значению элементов (например, энклитических и полноударных местоимений), количественное распределение (соотношение численности определенных групп элементов или конструкций), семантическая мотивация (соответствие употребле-

ния элемента его значению), сочетаемость (во фразе или в парадигме) с другими элементами или другими чертами.⁵

И если подделать сам факт присутствия некоторого элемента во фразе можно, позаимствовав этот элемент из другой рукописи, то уследить за тем, чтобы в новой фразе он не пришел в противоречие со всеми названными видами системных отношений, в десятки раз сложнее. И вставляющий как правило просто не в состоянии сразу заметить все подобные последствия своей вставки.⁶

А вот наш рецензент не видит ничего невозможного, например, в том, чтобы двойственное число в СПИ было получено путем заимствования целых отрезков из другого текста: «Остается, например, открытым вопрос: возможно ли правильное построение двойственного числа поздним стилизатором? Скажем, на основе использования блоков готового текста — так сказать, определенного типа “нарезанного” языка. (...) Таким образом мог быть, например, Ипатьевский список, где двойственное число представлено у огромного числа слов» (с. 265). А что если не гадать, а взять на себя труд посчитать? В СПИ 38 различных словоформ двойственного числа (не считая ненадежных или записанных с буквенной ошибкой). Из них 10 — местоимения, числительные и связки, 28 — знаменательные (существительные, прилагательные, глаголы). Из этих 28 знаменательных словоформ в Ипатьевском списке содержится всего две: *мѣсаца* и *рекоста*. А в 5 случаях нет даже и самой лексемы. Вот на каком замечательном основании стоят все рассуждения об “использовании блоков готового текста” (заметьте, даже не словоформ, а целых блоков!), которыми сторонники поддельности СПИ постоянно подбодряют друг друга.

Чтобы рассуждение о двух уровнях лингвистических характеристик (уровне первоначального наблюдения и уровне более глубокого анализа) не осталось слишком абстрактным, приведем два примера. В обоих случаях в нашей книге даны сведения как первого, так и второго уровня. И в обоих случаях рецензент реагирует только на сведения первого уровня, а сведений второго уровня, несравненно более весомых для рассматриваемой проблемы, вообще не замечает.

Так, в своей книге я подробно рассматриваю лингвистический механизм расстановки энклитик (в т. ч. на 20 страницах — поведение энклитики *са*). В частности, показываю, что существует восемь разных категорий (разрядов) синтаксических контекстов, в каждом из которых имеется собственная специфика поведения *са*. Подсчеты, выполненные на серии памятников, демонстрируют существование нескольких классов древнерусских памятников, различающихся поведением *са*. При этом обнаружено, что Ипатьевская летопись делится с этой точки зрения на резко различающиеся компоненты. Три из них включены в мою таблицу: прямая речь светских лиц в Киевском своде, авторская речь в Киевском своде и Галицко-Волынский свод. Не излагая всю проблему заново (см. полное изложение в моей книге, § 11–13), приведем данные по трем самым важным категориям фраз — с начальным местоимением, с начальным существительным и с начальным глаголом: прямая речь в Киевском своде — 81%, 57%, 0%; авторская речь там же — 12%, 3%, 0%; Галицко-Волынский свод — 9%, 5%, 0%. Добавим сюда показания ранних (домонгольских) берестяных грамот — 87%, 75%, 0%.

СПИ дает цифры: 100% (3 случая из 3), 60% (6 из 10), 0% (0 из 13).

Вся эта часть моего исследования прошла полностью мимо сознания рецензента. Она говорит о проблеме препозитивного *са* так, как если бы для имитации этой особенности

⁵ Именно показания этого более глубокого уровня и служат функциональным эквивалентом оценки текста природными носителями языка, когда речь идет о том, хорошо или плохо составлен искусственный текст на древнем языке. Тем самым неверно, что при отсутствии живых носителей языка мы вообще не имеем возможности судить о качестве позднего сочинения на древнем языке.

⁶ Некоторой аналогией здесь может служить современная правка при редактировании: хорошо известно, что после любой вставки, даже маленькой, во фразе что-то может нарушиться — от потерянного согласования до нарушения логики мысли, и это далеко не всегда удается сразу заметить, а даже заметив, нередко нелегко исправить.

древнего языка было достаточно там и сям вставить в текст препозитивные *са*. В частности, отмечая, что препозицию *са* нельзя считать незаметной чертой, она пишет (с. 264): “... эта черта сразу же фиксируется сознанием уже на начальном этапе занятий славянской филологией. Соответственно, нужно ожидать, что и мистификатор обратил бы на нее внимание и использовал бы ее для имитации текста XII века”.

Но ведь фальсификатор не просто вставил в свой текст некоторое количество препозитивных *са*. Он сумел их дозировать так, что кривая распределения их плотности по разрядам (100% – 60% – 0%) получилась весьма сходной с ранними берестяными грамотами (87% – 75% – 0%) и с прямой речью в Киевском своде (81% – 57% – 0%).

«Ну что же, значит, у него было изумительное интуитивное чувство языка!» — скажет нам сторонник интуитивной имитации. Допустим, он действительно как-то сумел зафиксировать в своем подсознании, что во фразах с начальным местоимением *са* нужно ставить в препозицию всегда или почти всегда, а во фразах с начальным существительным — только примерно в половине случаев. Само это допущение уже предполагает исключительно сильные имитаторские способности. Но еще удивительнее, как он нашел себе оригинал для подражания. Понятно, что берестяными грамотами он для своей цели воспользоваться не мог. Остается только прямая речь в Киевском своде. Но ведь это не сплошной текст: прямая речь все время перемежается с авторской речью; а авторская речь здесь имеет совсем другие показатели препозиции *са*. Выходит, что наш имитатор еще и сумел сперва расслоить текст и впитывать в свое подсознание одни пласты текста, а другие не впитывать.

Другая сторона проблемы с препозитивным *са*, не менее трудная для имитатора, состоит в том, в какую именно точку фразы его следует вставить. Например, во фразе *А чи диво ся, братіє, стару помолодити* ‘а разве это диво, братья, старому омолодиться’ энклитика *са* стоит на месте, полностью соответствующем древнерусским синтаксическим автоматизмам. Но каким образом наш имитатор понял, что его не следует ставить, например, ни после *а*, ни после *чи*, ни после *братіє*? (всё это были бы ошибки). А буквально такой (или хотя бы близко сходной) фразы в Ипатьевской летописи нет. А в Задонщине соответствующая фраза имеет *ся* в другом месте: *Добро бы, брате, в то время стару помолодится*. Конечно, когда речь идет об одной фразе, нельзя исключать простой случайности. Однако наш имитатор поставил *са* на правильное место не только в этой фразе, а во всех без исключения фразах СПИ.

Одну из этих фраз выделю особо, поскольку она представляет собой едва ли не самый показательный камень преткновения для имитатора. Это фраза *Вежи ся Половецкїи подвишася* ‘шатры половецкие зашевелились’. Ее оригинальнейшая особенность состоит в том, что *ся* здесь стоит между начальным существительным и согласованным с ним прилагательным (о втором *ся* — в *подвишася* — см. отдельно ниже).

Такое положение *ся* идеально соответствует древнейшему правилу расстановки энклитик — так называемому закону Вакернагеля, состоящему, упрощенно говоря, в том, что энклитики ставятся после первого полноударного слова фразы. Но во фразах с начальным сочетанием “существительное + прилагательное” эта древнейшая синтаксическая модель очень рано начинает вытесняться другими конструкциями; в древнерусских памятниках, даже XI–XII веков, она сохраняется лишь в очень редких случаях. Если перед нами продукт имитации, то имитатор должен был располагать какими-то образцами. И вот как обстоит дело с фондом образцов. В Ипатьевской летописи *ся* встречается около 3600 раз. Из них один раз *ся* стоит во фразе, сходной по структуре с рассматриваемой фразой из СПИ: *си же са злоба соклучи въ днь стго Възнесенья* ‘а это несчастье случилось в день святого Вознесения’ (л. 80 об.). Но даже и в этой фразе определение стоит не после существительного, а перед ним, и выражено не прилагательным, а местоимением (не говоря уже о том, что здесь нет второго *са* после глагола и после начального слова стоит не просто *са*, а *же са*). А все остальные кандидаты на статус образца

отличаются от фразы из СПИ намного сильнее. Если же имитатор готов был опираться не только на Ипатьевскую летопись, но и на другие попадавшие ему рукописи, то тут его шансы были еще хуже: в большинстве древнерусских памятников, даже ранних (например, во всей новгородской летописи, в Житии Андрея Юродивого, в «Иудейской войне» Иосифа Флавия, в «Пчеле»), ему не встретилось бы ни одного подходящего примера.

Дополнительной особенностью той же фразы из СПИ является так называемое двойное *ся*: помимо первого *ся*, поставленного по древнему правилу после начального слова, здесь имеется еще и второе, лишнее *ся*, поставленное по новому (позднему) правилу непосредственно после глагола: *подвизашася*. Такое *ся* изредка встречается в рукописях — иногда просто как ошибка оригинала, но чаще как результат поздней переписки: переписчик, хотя и копировал механически древнее препозитивное *ся*, уже плохо понимал его роль и добавлял недостающее, по его ощущению, *ся* после глагола. Именно этот второй тип происхождения лишнего *ся* в рассматриваемой фразе предполагается в рамках версии подлинности СПИ. Если же перед нами продукт имитации, то имитатор обладал неимоверной чувствительностью к редкостям, поскольку данный эффект встречается не чаще, чем один раз на несколько сот примеров с *ся*, причем в ранних рукописях его вообще почти никогда не бывает. Добавим к этому, что других фраз, кроме данной фразы из СПИ, где соединились бы эти две редчайшие особенности — *ся* между существительным и прилагательным и лишнее *ся* после глагола, — в обширном списке обследованных нами рукописей (включаящем, среди многого другого, все старшие летописи) нет вообще. Это яркий дополнительный штрих к разбору гипотезы о копировании “блоков готового текста”.

Мы видим, что при сочинении данной фразы имитировать в точном смысле этого слова было уже просто нечего: нет готового оригинала для подражания. Есть только отдельные черты, к тому же чрезвычайно редкие, из которых предстояло “собрать” фразу для СПИ. Их можно выявить лингвистическим анализом. Если же подобная фраза получена каким-то иным путем, то перед нами уже не имитация, а интуитивная реконструкция ненаблюдаемого объекта. Как достичь в этом случае правильной реконструкции, совершенно неизвестно. Единственный мыслимый ответ: “Интуиция гения может всё!”.

Таков действительный масштаб гениальности, который необходимо признать за нашим имитатором в одном только вопросе о расстановке *ся*.⁷ На этом фоне особенно выразительно звучит уже известное нам заявление рецензента: “... для накопления указанных Зализняком признаков не нужно лингвистической виртуозности”.

Между тем при версии подлинности здесь никаких проблем нет: в живой речи русские люди расставляли *ся* совершенно автоматически, в соответствии с бессознательным механизмом, усвоенным с детства. Так что при фиксации прямой речи достаточно было записывать так, как это обычно говорилось. И действительно, мы знаем, что из всех традиционных древнерусских текстов ближе всего по языку к берестяным грамотам, которые можно считать эталоном близости к живой речи, стоит именно прямая речь в Киевском своде. А о происхождении лишнего *ся* уже сказано выше.

Другой такой же пример относится к имперфектам типа *бьашеть*. В моей книге (с. 74) имеется следующий абзац:

Про имперфект он⁸ знал также ту тонкость, что в 3-м лице здесь возможны два варианта: с добавочным *-ть* и без него (скажем, *бьашеть* и *бьаше*). При этом, однако, он применил эти два варианта отнюдь не как попало, а распределил их слож-

⁷ Здесь нелишне заметить, что при изучении иностранного языка правильная расстановка энклитик — одна из самых трудных задач. Ошибки в этом отношении могут сохраняться даже у людей, достигших высокого уровня владения языком.

⁸ Т.е. фальсификатор; в тексте нашей книги он именуется также Анонимом.

ным образом в зависимости от нескольких разных факторов (не приводя их все, укажем лишь для примера, что в положении перед энклитикой имперфект выступает здесь только в варианте с *-ть*). Это распределение выявлено в работе Тимберлейк 1999. Но самое важное в том, что, как установлено в той же работе, такое же распределение представлено в ряде традиционных раннедревнерусских памятников, например, в той части Лаврентьевской летописи, которая соответствует XII веку, — иначе говоря, Аноним не сам придумал это распределение, а установил его (на два века раньше всех прочих славистов) на основе анализа каких-то древнерусских памятников.

И вот как обходится с этим исключительно важным для рассматриваемой проблематики фактом рецензент: из приведенного абзаца процитирована только первая фраза и ни слова о распределении этих вариантов, после чего следует такой комментарий (с. 274): «В статье 1185 г. [Ипатьевской летописи], посвященной походу Игоря, необычайно большое количество форм имперфекта на *-ть*. Так что тонкостей знать не надо, достаточно имитации». Иначе говоря: Да сказано же вам уже, как было дело! Что вам еще? Какой там еще Тимберлейк?!

А между тем любому серьезному лингвисту ясно, что для вопроса о происхождении памятника разница между просто присутствием какого-то числа имперфектов типа *бьяшетъ* наряду с обычным типом *бьяше* и распределением имперфектов этих двух типов по тому же правилу, что в Лаврентьевской летописи за XII век, громадна. Если в первом случае можно предполагать, что фальсификатор встречал формы имперфекта с *-ть* и вставил их в разных местах наугад, то во втором случае объяснить этот факт в рамках версии фальсификации можно лишь с помощью совершенно неправдоподобных допущений или придется обращаться к самому жалкому из прибежищ: объявлять это простой случайностью.

Опять-таки в версии подлинности тут никакой проблемы нет: в древней Руси бытовало несколько вариантов распределения форм типа *бьяшетъ* и типа *бьяше*; автор СПИ был носителем того же варианта, что у авторов Лаврентьевской летописи на протяжении XII века. Никакой специальной связи с Лаврентьевской летописью это не предполагает: вариантов распределения в этой сфере явно было немного.

Мы видим на этих примерах особенность зрения рецензента: в поле зрения попадает только самый поверхностный пласт фактов, а наиболее существенное выпадает. Своего рода слепота к самому яркому (но, правда, одновременно, и к самому для рецензента невыгодному...).

Такое же отношение к делу рецензент проявляет и во многих других вопросах. Например, в моей книге проведено подробное исследование статистических соотношений бессоюзия в независимой и параллельной частях СПИ и Задонщины (по четырем ее спискам) и утверждается, что эти соотношения невозможно объяснить в рамках версии поддельности СПИ, если только не прибегать к совершенно фантастическим допущениям. Детально обсужден также вопрос о том, почему не может служить аргументом против подлинности СПИ тот факт, что своим бессоюзием СПИ отличается от памятников XII века. И что же? Рецензент упоминает бессоюзие только для того, чтобы повторить, как ни в чем не бывало, ровно этот самый аргумент, ни сказав ни слова о моих возражениях и не упомянув никак все мое статистическое исследование.

Обратимся еще к одному ряду фактов. В СПИ встречается, во-первых, некоторое число диалектизм, например, *-са* вместо *-ся* в *врѣжеса*, *ш* вместо *с* в *шизый*, во-вторых, ряд характерных ошибок против орфографии или морфологии, например, *пльночи* вместо *полночи*, Т. мн. *чепи* вместо *чепы* (= *цѣпы*), В. мн. *на живая струны* вместо *на живыя струны*. Все эти особенности встречаются также и в реальных рукописях XV–

XVI вв., в том числе в списках с древних оригиналов. Если СПИ — подлинное древнее произведение, переписанное в XV–XVI в., то их объяснение не составляет никакой проблемы — они появились, как и в других поздних списках, под пером переписчика. Но если СПИ — это фальсификат, то приходится искать намного более сложные объяснения. При версии с имитацией объяснение состоит в том, что имитатор видел такие написания в прочитанных рукописях и затем перенес в свое сочинение.

Здесь следует прежде всего заметить, что имитировать редкие явления (будь то диалектизмы или ошибки) вообще намного труднее, чем массовые. Конечно, лингвист, который решил обмануть публику, мог бы сперва проанализировать все такие явления, а затем вставлять соответствующие написания сознательно, чтобы рукопись была больше похожа на подлинную. Но перед нами другая фигура — чуждый лингвистике имитатор. И нелегко понять, как ему удастся имитировать то, что рассеяно в рукописях в виде редких крошечных вкраплений. “Да просто он переносит в свой текст некоторые бросившиеся ему в глаза своим необычным написанием словоформы, скажем, *сыновця* вместо *сыновца*”, — могут нам сказать. Однако быстро обнаруживается, что таким способом можно объяснить только малую долю всех нестандартных написаний. Картина здесь совершенно такая же, как с двойственным числом, которое мы обсуждали выше. Не будем тратить места на приведение длинных списков — достаточно словоформы *русици*, которой нет в других памятниках и которую он, однако же, записал с диалектизмом: *ц* вместо *ч*. С другой стороны, предполагать, что просто он сам так же неосознанно ошибался, как северо-западные писцы XVI века, решительно невозможно: он же не носитель диалекта и не проходил школу письма XVI века, так что его привычки и автоматизмы — совершенно иные, чем у тогдашнего писца. Таким образом, имитатор неизбежно должен был строить многие словоформы с диалектизмами или типовыми ошибками самостоятельно. И как он достиг в этом правильных результатов, не будучи лингвистом, — загадка.

Рассмотрим для наглядности какой-нибудь конкретный пример этого рода, скажем, написание *-са* вместо *-ся* в *врѣжеса*. Этот диалектизм отражается в памятниках XV–XVI веков редко. В Ипатьевской летописи, которую рецензент считает главным источником заимствований в СПИ, он встречается всего один раз: *оурадивса* (л. 199 об.). Коль скоро перед нами работа интуитивного имитатора, опиравшегося на Ипатьевскую летопись, то мы неизбежно должны допустить следующее: читая эту летопись, длина которой — 218 тысяч слов, имитатор отложил в своем сознании (или подсознании) встретившуюся один раз словоформу *оурадивса*, причем не как единое целое, а именно как пример словоформы с *са* вместо *са*, и затем при сочинении СПИ один раз (либо помня, что это редкость, либо просто подсознательно) вместо обычного *са* написал *са* (в словоформе *врѣжеса*).

Конечно, поразительно, что одна форма из 218 тысяч смогла отложиться в его (под-)сознании. Но еще более удивительно, как он, не будучи лингвистом, смог отличить *оурадивса* от форм с простыми описками (где, скажем, вместо *я* написано *ю*), которые тоже встречаются в летописи. А если его подсознание было столь мощным, что фиксировало безотказно все необычные формы подряд, то как ему удалось вставить в СПИ имитацию именно формы с реальным диалектизмом, а не формы с опиской? И каким образом он, не будучи лингвистом, по одному-единственному примеру *оурадивса* угадал, что дело здесь не в замене произвольного *я* на *а*, или *ся* на *са*, или *вся* на *вса*, а именно о замене показателя возвратности *ся* на *са*? Ведь, не разгадав этого, он имел бы совершенно одинаковые шансы на то, чтобы вставить в текст как *врѣжеса* вместо *врѣжеса*, так и, скажем, *вса* вместо *вся*, или *труса* вместо *труся*, или *всадемь* вместо *всядемь*, или *мѣсаца* вместо *мѣсяца*...

Случайность? Да, для единичного написания нельзя исключить и случайность. Но ведь мы привели случай с *-са* вместо *-ся* просто как образец — совершенно аналогичная картина обнаруживается и при анализе еще двух десятков диалектных черт или ошибок против грамматики; см. § 18, 21, 22 моей книги. Целая серия маловероятных случайно-

стей — это уже попросту чудо. Так что версия с лингвистически не подготовленным имитатором здесь в качестве объяснений ничего, кроме чуда, предложить не может.

Трудности, связанные с подражанием нескольким источникам одновременно

Рецензент в нескольких случаях пытается представить Ипатьевскую летопись как источник чуть ли не всех языковых особенностей СПИ⁹; в других случаях, в противоречии с этим, она говорит о том, что стилизатор должен был читать много разных рукописей (в основном северо-западного происхождения) и их орфография должна была быть для него привычной. И как мы увидим далее, допускает и то, что некоторые языковые черты фальсификата скопированы не с Ипатьевской летописи, а с какой-то другой рукописи, т. е. фактически опирается на сформулированную нами выше гипотезу 2.

Сомнений в том, что стилизатор должен был читать много рукописей, нет. Он, конечно, читал Ипатьевскую летопись, Задонщину и псковский Апостол 1307 года. Но общий список источников, откуда он должен был почерпнуть те или иные элементы текста, как давно установлено, насчитывает не меньше двух десятков единиц. Следовательно, он должен был как-то познакомиться и с ними.

Лингвистические характеристики этих рукописей во множестве отношений различны. И здесь следует учитывать, что при гипотезе об имитаторе, не причастном к науке, у такого человека практически не было средств понять, какая рукопись ранняя, а какая поздняя, какая северная, а какая южная и даже, например, какая русская, а какая сербская. Весь этот корпус был для него единым большим массивом текстов-источников. В десятках, если не сотнях пунктов его сознание должно было фиксировать наличие вариантов. В одних рукописях имелось двойственное число, в других нет, причем среди первых не было единства в том, какими окончаниями это двойственное число выражалось. В одних рукописях аорист и имперфект образовывались по древним правилам и четко различались по значению, в других они смешивались и/или получали другие окончания, чем в древности, в третьих вообще не употреблялись. В одних рукописях *са* было расставлено во фразах по древнейшим правилам, в других оно уже было в большинстве случаев перетянуто в постпозицию к глаголу, в третьих препозиции *са* уже не было вообще. Окончания склонения чуть ли не в каждой форме допускали варианты, которые иногда были распределены по разным рукописям, иногда конкурировали в тексте одной и той же рукописи. Орфография каждой рукописи имела свои особенности. Фонетический состав слов тоже варьировал в зависимости от места происхождения рукописи и большего или меньшего количества проникших в текст диалектизмов.

На уровне лингвистического знания все это называется исторической грамматикой; в объеме, хотя бы сколько-то приближающемся к полному, все эти знания в состоянии держать в голове только самые высококвалифицированные филологи. Но мы здесь имеем право рассуждать только на уровне интуитивного имитатора. Гипотеза, необходимая для нашего рецензента, состоит в том, что в мозгу у имитатора имелся некий эквивалент этой информации, не предполагающий никакой осознанной классификации явлений, однако же дающий возможность интуитивно строить тексты, имитирующие некоторую конкретную рукопись — и даже не вообще, а в отношении конкретных языковых характеристик.

Здравому смыслу это представляется чудом.

⁹ Например, она отмечает (с. 275), что в Ипатьевской летописи есть и некоторые элементы южнославянской орфографии. Их, правда, ничтожно мало для рукописи столь большого объема, но сам факт должен подталкивать читателя к мысли, что и эту черту стилизатор мог заимствовать из Ипатьевской летописи. Прискорбно то, что при этой демонстрации допущен элементарный ляпсус — в число якобы южнославянских написаний включено *жд* в словах *ворожда*, *вражда*. Не имеет отношения ко второму южнославянскому влиянию и *жд* из *zg, *zđj (*иждегъ*, *изъбъжденъ*): такие написания используются на протяжении всего древнерусского периода.

Каким образом вообще человек, чуждый лингвистике, пришел бы к пониманию того, что существовало двойственное число? Что, например, *соколомъ* (т. е. дательный множ. числа) и *соколома* (т. е. дательный двойств. числа) — это не варианты (каких в других случаях множество), а единицы с разным значением, а именно, разные числа? И это в условиях, когда в других рукописях он легко мог встретить, например, *дѣѡма соколомъ* наряду с *дѣѡма соколома* (не говоря уже о многообразии морфологических вариантов, скажем, *соколамъ* наряду с *соколомъ* и *соколома* наряду с *соколома*). “Так ведь знал же из церковнославянской грамматики про двойственное число”, — скажут нам. Если так, то, строго говоря, мы уже от версии с непричастным к науке имитатором частично переходим к версии с грамматическим (следовательно, лингвистическим) осмыслением имитируемых фактов. Но даже если допустить в качестве компромисса такой вариант, то придется признать, что и этот источник помог бы лишь в небольшой части случаев: по большинству участвующих в нашей проблеме лингвистических пунктов церковнославянские грамматики не содержали ровно никакой информации, а иногда и прямо указывали не то, что мы находим в СПИ. Можно, конечно, представить себе и совсем другое возражение: “А он и не приходил к пониманию того, что такое двойственное число, — просто удачно переносил в свое сочинение некоторые встреченные им словоформы”. Не берусь судить, имелось ли в виду именно это в приведенном выше высказывании нашего рецензента на тему об “использовании блоков готового текста” при построении двойственного числа. Но берусь утверждать, что в этом случае только чудом можно было бы объяснить то, что в СПИ заимствованные таким способом словоформы оказались в подавляющем большинстве случаев в безупречном соответствии с требуемыми по смыслу числовыми значениями.

Как этот человек сумел справиться с трудностями, вытекающими из существования четырех разных прошедших времен, тогда как в его собственном языке было только одно? Он мог бы, конечно, считать их все простыми вариантами, но тогда как ему удалось правильно (если не считать всего нескольких примеров перфекта) распределить их в сочиняемом тексте? Как он понял, например, что аорист надо брать от глаголов совершенного вида и глаголов движения, а имперфект — от остальных глаголов? Ведь это распределение уже сбито в поздних рукописях, окончания аориста и имперфекта в них часто смешиваются, и даже грамматисты долгое время не различали аорист и имперфект как разные времена. Как он сумел в море поздних испорченных форм аориста выбрать правильные древние формы? Даже лингвист Добровский не сумел этого сделать в своих *Institutiones* без ошибок. Предполагать, что он каждую конкретную глагольную словоформу видел в каком-то тексте и запомнил, невозможно: совершенно так же, как в случае с двойственным числом, в Ипатьевской летописи найдется лишь малая часть нужных словоформ, а если бы он набирал их из произвольных рукописей, то они являли бы собой пеструю смесь всех окончаний и всех орфографий. Несомненно, он должен был какие-то словоформы строить самостоятельно. Мы видим, таким образом, что интуиция нашего имитатора должна была быть мощнее аналитической мысли лингвистов.

Как этот человек сумел расставить *са* по древним правилам, при том, что в большинстве читанных им памятников они уже были расставлены по новым или по смешанным правилам? Научиться правильно расставлять энклитики очень непросто даже если образцом служит большой текст, где они всегда стоят на законных местах. А здесь речь идет об ограниченном числе фраз с расстановкой энклитик по древнему правилу, рассеянных среди гораздо большего числа фраз, уже не соответствующих древнему правилу. Ведь единственный существующий источник достаточно большого объема, где это правило работает без сбоев на протяжении всего текста, — это корпус берестяных грамот! Неслучайно до открытия берестяных грамот (точнее, до систематического анализа всего их корпуса) сам факт, что в древнерусском языке действовало это правило (известное по другим древним языкам), оставался по существу незамеченным.

Как он сумел распределить имперфекты типа *бѣшетъ* так, что они оказались в согласии с одним из древних вариантов их распределения, при том, что в большинстве читанных им памятников они уже были расставлены не так?

Таким образом, предположение о том, что имитатор выбрал себе в качестве ориентира Ипатьевскую летопись, настроился на нее и отключил из своего (под)сознания впечатления от других рукописей, — даже если допустить, что такое вообще возможно, — не проходит. Если двойственное число, аорист и имперфект действительно употребляются в Ипат. по древним правилам, то ситуация с *са* и имперфектами типа *бѣшетъ* несравненно сложнее. Такое распределение препозитивных и постпозитивных *са*, как в СПИ, представлено, как уже указано выше, только в одном очень непросто вычленяемом компоненте Ипат. — в прямой речи светских лиц в Киевском своде; во всех остальных компонентах Ипат. (т.е. в 90% объема летописи) распределение *са* другое. А распределение *бѣше* и *бѣшетъ* в СПИ вообще не совпадает с Ипатьевской летописью, а совпадает с Лаврентьевской.

Имеется и ряд других важных несопадений с Ипатьевской летописью. Например, бессоюзи СПИ абсолютно не поддержано стилем Ипат., где союзов как раз очень много. А эту черту, — говорит рецензент, — стилизатор заимствовал из Задонщины.¹⁰ Тем самым рецензент признает, что имитатор все-таки не мог ограничиться имитацией лишь одного памятника, а ориентировался на разные памятники в зависимости от того, о какой лингвистическом аспекте фразы идет речь.

Итак, получается, что, работая на своем сочинении, имитатор большей частью «настраивал» свое подсознание на Ипатьевскую летопись; но в вопросе о *са* — только на один ее компонент (выделить который ему удалось каким-то загадочным образом). В вопросе об имперфекте типа *бѣшетъ* он «перенастраивал» свое подсознание на Лаврентьевскую летопись; в вопросе о бессоюзии — на Задонщину. Список легко продолжить, например: в вопросе о написании *ци* или *цы*, или о смешении *ѣ* и *е*, или о несмешении *ѣ* и *и* (в корнях) — на какой-то памятник типа псковской летописи, и т. д.

Что можно сказать перед лицом всей этой картины в защиту версии имитации, кроме все того же: «Гений может всё»?

О принципе “порядок информативнее, чем отсутствие порядка”

Проведенный выше разбор конкретных элементов языка СПИ полезно дополнить некоторыми рассуждениями более общего порядка.

Всегда ли в СПИ сохранены древние правила распределения тех или иных элементов или грамматических форм? Нет, не всегда. И случаи нарушения древних распределений, естественно, оказываются аргументами против подлинности СПИ. Так, в СПИ несколько больше перфектов, чем ожидалось бы для текста XII века, и в нескольких случаях они стоят в контекстах, для перфекта неподходящих (см. об этом § 17 моей книги). И сторонники поддельности, включая нашего рецензента, говорят: вот признак того, что писал человек нового времени, — он по ошибке вставил кое-где свои родные формы прошедшего времени.

Если бы других фактов, связанных с правилами распределения элементов, не было, этот аргумент в пользу поддельности был бы признан весомым. Но такие факты есть. В частности, таково рассмотренное нами древнее правило расстановки энклитик (т.е. их распределения по позициям в разных типах контекстов): оно соблюдено в СПИ очень хорошо.

¹⁰ Отметим здесь саму идею, что бессоюзи в СПИ непременно должно было быть откуда-то заимствовано. Дело в том, что отсутствие столь высокочастотного бессоюзия в других памятниках XII века, согласно Т.Вилкул, свидетельствует о поддельности СПИ. Она не замечает того, что тогда бессоюзи в Задонщине должно точно так же свидетельствовать о поддельности Задонщины, поскольку и в XV веке такого бессоюзия в других памятниках тоже нет.

И тогда встает вопрос: какой из этих двух фактов информативнее — хорошо соблюденное древнее распределение энклитик (= аргумент в пользу подлинности) или не полностью соблюденное распределение перфекта с другими прошедшими временами (= аргумент в пользу поддельности)? На первый взгляд, ситуация симметричная и оба аргумента должны иметь одинаковый вес. Однако при более глубоком рассмотрении эта оценка оказывается неверной.

В соответствии с версией подлинности, СПИ прошло в ходе истории через одно или несколько переписываний. В процессе переписывания писец мог что-то сохранить, а что-то по недостатку внимания или старания изменить. Некоторое правильное древнее распределение могло в силу такого случайного вмешательства нарушиться. Напротив, плохо соблюденное распределение улучшиться от случайного вмешательства не могло (точнее, вероятность этого события ничтожна); а исправить его сознательно поздний переписчик не мог, поскольку он уже не владел древним правилом. Поэтому полностью сохраненное древнее распределение есть надежное свидетельство того, что оно было в тексте и до переписывания. Напротив, плохо выдержанное распределение могло быть как старым, так и возникшим в силу порчи от случайных изменений при переписывании.

В нашем случае это означает, что распределение энклитик было таким же и до переписывания, тогда как распределение перфекта могло быть и результатом порчи. (Последнее тем более вероятно, что нарушение состоит в превышении ожидаемой доли перфекта, а известно, что переписчики как раз во многих случаях неосознанно заменяли мертвый аорист или имперфект на живую форму прошедшего времени, т. е. перфект.) Перед нами здесь не что иное, как частное проявление общего принципа “порядок информативнее, чем отсутствие порядка”.

Если мы каким-либо образом удостоверились в том, что фальсификатор не мог знать правила распределения энклитик и не мог их правильно распределить методом имитации, то это фактически означает, что версия поддельности отпадает. И тогда неправильное распределение перфекта вынужденным образом должно объясняться как порча при переписывании (или как присутствовавшее уже в первоначальном тексте), но не как свидетельство поддельности. Тем самым проблема сводится только к вопросу о том, мог ли фальсификатор подделать распределение энклитик, — чем мы выше и занимались.

О соотношении объекта и его модели

Изучаемый нами вопрос составляет лишь маленький частный случай гораздо более общей проблемы соотношения объекта и его модели (искусственного эквивалента). Частные случаи здесь могут быть чрезвычайно разнообразны. Это может быть картина знаменитого мастера и подделка под нее; сочинение, имитирующее древние или современные сочинения определенной категории (как выдаваемое за подлинное, так и не выдаваемое); самолет и его модель в виде физического предмета; атом и его модель в виде абстрактной схемы; реальное событие и его изображение в кино, в рассказе или в научной работе.

Общим во всех этих случаях является то, что модель не может воспроизвести все свойства моделируемого объекта. Она воспроизводит (или каким-то иным способом отражает) только некоторые из них, которые представляются автору модели важными; остальными этот автор пренебрегает, причем про существование большинства из них он просто ничего не знает. Такое соотношение неизбежно: ведь число свойств реального объекта безгранично, будь это даже простой стакан или камень.

В число свойств объекта входят, конечно, не только такие первичные, как размер, масса, цвет и т. п., но и различные связи и отношения, в которых участвует объект в целом или его части между собой. Если объект — это некоторый текст, то количество его свойств огромно. Даже если взяться рассматривать среди них только те, которые относятся к языку (оставив в стороне литературные, исторические и др.), таких свойств окажется чрезвычайно много — ведь сюда входят не только общие характеристики, но и

многочисленные фонетические, орфографические, морфологические, синтаксические, семантические детали. Скажем, для древнерусского текста сюда войдут в числе прочих и все те тонкие синтаксические явления, которые мы рассматривали выше.

Может возникнуть вопрос: если свойств так много, как могут люди их соблюсти в подлинном объекте, например, в подлинном тексте? Ответ состоит в том, что в языковом отношении подлинный текст есть продукт автоматизмов, которые закладываются в человеке с раннего детства. Текст возникает как своего рода натуральный продукт, все языковые характеристики которого определены привычной практикой, существовавшей до создания этого текста.

Если потребуется создать модель объекта, то, по общему принципу, в ней неизбежно окажется учтенной только часть (и даже точнее: очень малая часть) всех этих свойств. В частности, невозможно составить столь подробное лингвистическое описание текста, чтобы в нем оказались учтены все свойства текста. И дело здесь не только в том, что это очень долгая работа, но и в том, что лингвисты еще не все знают про язык — есть такие свойства языка, которые еще не выявлены.

Частным случаем создания модели является создание подделки. Если подделка создается на основе знания, то понятно, что она может правильно воспроизвести только те свойства объекта, про которые имеется соответствующее знание, — следовательно, не все.

Иначе обстоит дело, когда подделка создается методом подсознательного подражания. Не касаясь таких сфер, как, например, подделка картин, ограничимся вопросом о подделке текстов. Здесь дело, очевидно, сводится к полному или неполному владению языком. Если у имитатора и автора образца один и тот же родной язык, тот же его диалект и языковые привычки одинаковой социальной среды, то со стороны языка продукт имитации будет неотличим от подлинника. Если это не так (т. е. при разнице эпох, разнице диалектов и т. п.), воспроизвести в подделке все свойства языка имитатор сможет лишь в том случае, если он усвоил чужой диалект или чужой язык безупречно. Как мы уже видели выше, при разборе гипотезы 1, в случае древнего языка это, по-видимому, невозможно. Следовательно, также и в варианте с имитатором будут воспроизведены не все языковые свойства оригинала.

Но если воспроизвести все свойства оригинала так безмерно трудно, почему же в человеческой практике некоторые подделки и некоторые имитации все-таки удаются?

Ответ прост: потому что люди обычно не замечают тонких несходств. Например, подлинность или поддельность картины нередко могут установить только высококвалифицированные эксперты, а в глазах всех остальных людей поддельная и оригинальная картина одинаковы. Это значит, что эксперты знают такие свойства, не замечаемые остальными людьми, которые присутствуют только в подлинных картинах и недоступны фальсификаторам или, наоборот, никогда не бывают у подлинных картин.

Все это уже очень похоже на проблемы, связанные с СПИ. С той же естественностью, с которой художник XII века использовал краски, существовавшие в его время в его стране, сочинитель XII века расставлял энклитики в соответствии с автоматизмами языка своего времени. Допустим, экспертам известно, что производство одной из таких красок после XII века во всем мире прекратилось; тогда представленная на суд картина, где химический анализ показал присутствие данной краски, очевидно, будет признана подлинной. Аналогично этому, если каким-либо образом установлено, что фальсификатор не мог знать или не мог воспроизвести древнее распределение энклитик, то СПИ должно быть признано подлинным сочинением. Вопрос сводится, таким образом, только к тому, верно ли, что он этого достичь не мог (если пренебречь исчезающе малой вероятностью того, что распределение энклитик у него вышло случайно). Заметим, что сходство здесь еще и в том, что, подобно тому, как присутствие в картине краски определенного химического состава совершенно неощутимо для обычного зрителя, так и особенности распределения энклитик в тексте совершенно незаметны для нелингвиста и ровно ничего ему не говорят.

Печально известная теория А. Т. Фоменко гласит, что наше представление о мировой истории есть выдумка фальсификаторов. Например, они якобы изобрели историю древнего Рима, выдумав конкретных людей, их биографии, их дела и подвиги, их язык, их сочинения, их многообразные связи и отношения между собой, условия их жизни и материальной культуры (см. об этом подробнее [Зализняк 2000]). Главная причина, по которой эта идея должна быть признана абсурдной, состоит в том, что в реальной жизни все бесконечно сложные переплетения людей, событий и судеб складываются естественным путем по своим, тоже бесчисленным, причинам. (От концепции предначертанности всех событий мы позволим себе здесь отвлечься; но все же заметим, что и в этой концепции источником предначертания может быть только божество, но никак не люди.) А в фиктивном мире, выдуманном фальсификаторами, заменить все эти бесчисленные взаимосвязи должен интеллект фальсификаторов; поверить в успех такого замысла можно только признав за этим интеллектом такую же мощь, как у божества, т. е. всеведение.

Поучительный факт, связанный с теорией Фоменко, состоит в том, что немало людей этой теории поверило. Этим людям кажется простым и очевидным принцип: “выдумать можно решительно что угодно”; контрольный механизм, который проверял бы степень правдоподобия идеи, у них не работает.

О теории Фоменко полезно помнить и при разборе вопроса о поддельности СПИ. Разумеется, я ни в коем случае не хочу сказать, что версия поддельности СПИ — такая же абсурдная, как теория Фоменко. В данном случае мы имеем дело с серьезной научной проблемой, а не с откровенными фантазиями. Но общий элемент состоит в легковерии тех, кто готов считать задачу предполагаемого фальсификатора не такой уж сложной. В частности, ровно на этой точке зрения стоит наш рецензент, защищая ее при этом способом страуса — закрывая глаза при чтении тех разделов моей книги, где показано, в чем именно состояла сложность.

Дополнительный пример языковых особенностей СПИ

Выше мы настойчиво подчеркивали, что конкретных частных закономерностей, которые проявились в языке СПИ, много и что мы демонстрируем здесь лишь примеры. Но верно и более сильное утверждение: их больше, чем упомянуто в нашей книге; и можно быть практически уверенными в том, что имеются еще и такие, которых мы пока что не обнаружили.

Вот один частный пример, свидетельствующий в пользу такого утверждения.

Уже после выхода книги о СПИ я занимался изучением истории древнерусских энклитик и в ходе этой работы, в частности, исследовал процесс постепенной замены древних энклитических местоименных словоформ (*ми, мя, ти, тя, ны, вы*) полноударными: *мѣнѣ, мене* (позднее *меня*), *тебѣ, тебе* (позднее *тебя*), *намѣ, насѣ, вамѣ, васѣ*.

Имеются синтаксические позиции, где полноударные местоимения употреблялись издревле, например, в дательном падеже после предлога. В этих позициях они совершенно регулярно выступают также и во всех позднейших памятниках.

В прочих позициях древнейшая норма требует употребления энклитических вариантов местоимений. Для этих позиций выявляется следующая картина.

В памятниках домонгольского времени (ранние берестяные грамоты, прямая речь в Киевском своде, Житие Феодосия, Житие Андрея Юродивого и др.) в единственном числе древнейшая норма еще выдержана очень хорошо: в 87–100% случаев выступают именно энклитики — *ми, мя, ти, тя, ны, вы* (а не полноударные *мѣнѣ, мене, тебѣ, тебе, намѣ, насѣ, вамѣ, васѣ*, как в позднем языке). Но во множественном числе это не так; здесь процент соблюдения древнейшей нормы резко падает: в прямой речи в Киевском своде до 71%, в Житии Андрея Юродивого — до 38%, в ранних берестяных грамотах и Житии Феодосия — даже до нуля. Ясно, таким образом, что процесс вытеснения энклитик полноударными местоимениями начался во множественном числе раньше, чем в единственном.

В памятниках послемонгольского времени мы находим уже картину сильно продвинувшейся эволюции. Так, в поздних берестяных грамотах (XIII–XV вв.) в единственном числе энклитики сохраняются только в 37–54% случаев, во множественном их уже просто нет. А в письмах Василия Грязного (1576 г.) энклитических местоимений уже нет вообще — как в современном языке.

Приводим количественные данные. Из множественного числа для наших целей достаточно взять формы дательного падежа.¹¹ Помимо процентов, там, где полезна более полная информация, указано (в скобках) также абсолютное число примеров (двоеточие здесь равносильно слову “из”).

	Процент сохранения древних:		
	<i>ми, ти</i> (без замены на <i>мънѣ, тебѣ</i>)	<i>ма, та</i> (без замены на <i>мене, тебе</i>)	<i>ны, вы</i> (без замены на <i>намъ, вамъ</i>)
Ранние берестяные грамоты	92%	93%	0% (0:2)
Прямая речь в Киевском своде	87%	91%	71%
Житие Феодосия	96%	100%	0% (0:25)
Житие Андрея Юродивого	92%	94%	38%
Поздние берестяные грамоты	54%	37%	0% (0:13)
Письма Василия Грязного	0% (0:19)	0% (0:9)	—

Когда я получил приведенные здесь данные, возникла мысль, что было бы интересно проверить с этой точки зрения также СПИ. И вот что оказалось:

«Слово о полку Игореве»	100% (10:10)	100% (2:2)	50% (1:2)
-------------------------	--------------	------------	-----------

Ясно, что эти данные — того же типа, что у домонгольских памятников: энклитики сохранены почти везде — в 13 случаях из 14. Это очередной пример того, что в СПИ соблюдена древняя норма в пункте, где в послемонгольское время эта норма уже была частично или полностью разрушена. Стронник версии поддельности мог бы здесь, правда, предположить, что фальсификатор заметил существование древней модели и просто провел ее механически по всем случаям. Но быстро обнаруживается, что это не так: во-первых, в синтаксических позициях, где полноударные местоимения употреблялись издревле, в СПИ правильным образом стоят именно они, например: *Възлелѣи, господине, мою ладу къ мнѣ* 180; ... *ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръный воронъ, поганый Половчине!* 41; во-вторых, один раз употреблено полноударное *намъ* в позиции, где древняя норма требовала энклитики *ны*: *Уже намъ своих милыхъ ладъ ни мыслю смислити, ни думою сдумати, ни очима съглядати* 83.

Отклонение от древнейшего правила в последней фразе оказывается особенно показательным — оно приходится на множественное число, т. е. оно совершенно такое же, как в реальных памятниках XII века. (Конечно, один пример можно попытаться списать на случайность; но мы уже видели, сколько раз приходится сторонникам поддельности хвататься за эту соломинку.)

Таким образом, сверх того, что нам было уже известно, в СПИ оказалось соблюденным еще одно весьма деликатное распределение, где фальсификатор, если таковой имелся, должен был соблюсти (неважно, с помощью лингвистического анализа или без него): 1) ориентацию на домонгольские памятники, но не на более поздние; 2) разделение синтаксических позиций на требующие полноударных местоимений и на требующие энклитик; 3) разницу в поведении энклитик в единственном и множественном числе в домонгольскую эпоху.

¹¹ В винительном падеже множ. числа процесс замены развивался несколько медленнее, чем в дательном; но мы можем не усложнять этим нашу таблицу, поскольку в СПИ местоимения в винительном падеже множ. числа не встретились.

Выходит, что двести лет никто не обращал внимания на детали процесса вытеснения энклитик полноударными местоимениями, а великий фальсификатор XVIII века ими уже овладел — будь то методом познания или методом интуиции.

Воистину, это был величайший гений фальсификации, коль скоро его продукт обладает тем свойством, что чем больше его сторон подвергается контролю (в том числе случайному, как в данном примере), тем больше обнаруживается сходений с бесспорными древними памятниками.

Подведем итоги. Если СПИ — это произведение XII–XIII веков, переписанное в XV–XVI веке, то с точки зрения истории письменного текста перед нами вполне рядовой случай: языковые характеристики СПИ совпадают (пусть не во всех деталях, но во всем основном) с известными ныне характеристиками большого числа реальных рукописей с такой историей.

Если же СПИ — это фальсификат, где неосознанно воспроизведены десятки языковых черт, свойственных указанной категории рукописей, то это уникальный факт мировой истории письменности, для которого ни рецензент, ни кто-либо другой не может привести ни одного засвидетельствованного аналога. Наш рецензент просто верит, что это возможно, и читателю предлагается в это тоже просто поверить.

Является ли отстаиваемое рецензентом предположение безусловно невозможным? Нет, не является. В ситуации, когда нет документальных данных, можно предполагать что угодно, в частности, что человеческая способность имитации безгранична. Но подобная ситуация не является для науки чем-то беспрецедентным; она возникает в науке не так уж редко, и хорошо известно, что в этих случаях наука занимается тем, что оценивает не только возможность или невозможность, но и вероятность каждого предположения.

Рецензент пытается представить задачу имитатора как не слишком сложную. Но документальный анализ тех трудностей, которые он должен был преодолеть, показывает всю несерьезность такой оценки. Если работал имитатор, то он мог быть только абсолютным гением имитации. И этим, естественно, определяется и степень вероятности всей версии.

Итак, предположение об имитаторе, чуждом лингвистической науке, не невозможно, но предельно маловероятно. Напомним, что предположение о фальсификаторе-лингвисте, достигшем всех необходимых для такой фальсификации научных знаний на один-два века раньше всех своих коллег, тоже предельно маловероятно, хотя уже по другим причинам (которые подробно обсуждаются в моей книге). Тем самым предельно маловероятна и вся версия фальсификации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вилкул 2005 — *Т. Вилкул*. Рецензия на книгу: *А. А. Зализняк*. Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста // *Ruthenica*, том 4. Київ, 2005. С. 262–279.
- Зализняк 2000 — *А. А. Зализняк*. Лингвистика по А.Т.Фоменко // *Вопросы языкознания*, 2000, № 6. С. 33–68.
- Зализняк 2004 — *А. А. Зализняк*. Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста. М., 2004.
- Ипат. — Полное собрание русских летописей. Том второй. Ипатьевская летопись. М., 1962.
- СПИ (также: Слово) — Слово о полку Игореве.
- Тимберлейк 1999 — *A. Timberlake*. On the Imperfect Augment in ‘Slovo o polku Igoreve // *H. Baran, S. I. Gindin et al.* (eds.). *Roman Jakobson: Texts, Documents, Studies*. Moscow: Russian State University for the Humanities, 1999. P. 771–786.
- Institutiones — *J. Dobrovský*. Institutiones linguae slavicae dialecti veteris, quae quum apud Russos, Serbos aliosque ritus Graeci, tum apud Dalmatas glagolitas ritus Latini Slavos in libris sacris obtinet. Vindobonae, 1822 (2-е изд. 1852).